

---

ДМИТРИЙ УРНОВ

## “ДОКТОР ЖИВАГО”. ГОД 1988-й

*Доклад на конференции “Жизнь романа Бориса Пастернака “Доктор Живаго”. Культура и холодная война”.*

*Стэнфордский университет,  
Пало Альто, Калифорния, США.  
Октябрь, 2007.*

На вопрос, поставленный передо мной организатором конференции, профессором Лазарем Флейшманом, — “Как “Доктор Живаго” был воспринят в Советском Союзе в 1988 году?” — и ставший темой моего сообщения, я постараюсь ответить, сравнивая свою точку зрения со взглядом противоположным ради того, чтобы, насколько это возможно, избежать пристрастности.

“В 1988 году в первых номерах “Нового мира” (в который Пастернак и предложил роман сразу по написании) был наконец опубликован на родине автора “Доктор Живаго”. Реакция на него была странная — прошло несколько газетных дискуссий скорее ритуального характера, ибо трудно представить себе читателя, хуже подготовленного к восприятию этой книги, нежели советский читатель восьмидесятых годов”<sup>1</sup>.

Это я цитирую книгу Дмитрия Быкова “Пастернак”, вышедшую в серии “Жизнь замечательных людей” (2005) и удостоенную премий Букера и “Большой книги”. Автор премированного сочинения, согласно биографической справке в интернете, родился в 1967 году, стало быть, в момент появления “Доктора Живаго” на родине Бориса Пастернака ему было уже больше двадцати лет. Согласно тому же источнику, он учился на факультете журналистики, сотрудничал в столичных издательствах и в центральной периодической печати, так что написанное им следует читать как свидетельство осведомленного современника: странная реакция... всего лишь ритуальные отклики в печати... плохо, из рук вон плохо подготовленная публика...

В чем “странность” читательской реакции и что означает “ритуальный характер” дискуссий, автор прямо не отвечает, однако он высказывается определенно о советских читателях той поры, с его точки зрения, плохо и даже очень плохо подготовленных к восприятию наконец-то ими полученного романа.

---

<sup>1</sup> Быков Д. Борис Пастернак. Москва. Молодая гвардия, 2005, с. 878–879.

---

*УРНОВ Дмитрий (р. 1936 г., Москва) — доктор филологических наук, профессор, сотрудник Института мировой литературы АН СССР (1958—1988), главный редактор журнала “Вопросы литературы” (1988—1991), координировал проекты по литературоведению под эгидой Советско-Американской комиссии по гуманитарным наукам (1978—1990), преподавал в США (1991—2006), с 2006 г. на пенсии*

Поделюсь своими воспоминаниями о тех же читателях, а лучших, чем граждане нашей страны в последние годы существования Советского Союза, читателей трудно себе представить<sup>2</sup>. Подобно зрителям античного или шекспировского театра, а также семейному кругу, собиравшемуся за чтением Вальтера Скотта<sup>3</sup>, Джеймса Фенимора Купера, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Чехова, эта аудитория была явлением исключительным, возможно, неповторимым, – многомиллионная, ненасытно жадная до чтения публика, для которой, как и прежде, по выражению Герцена, появление нового романа значило больше, чем новое назначение в министерстве. Воспитанные под горьковским, как лозунг едва ли не в каждой библиотеке повешенным на стену, признанием “Все́м хорошим во мне я обязан книгам”, советские люди в художественной литературе искали истину. Чтение было для них условием существования. Если доступ к некоей книге был затруднен и вовсе закрыт, эти самозабвенные читатели старались преодолеть какие угодно препятствия.

Начитанность этой аудитории была поразительной, в особенности если учесть, что всякую достойную внимания книгу достать было трудно и, кажется, просто невозможно. Законопаченные в спецхран “под гайку”, не находясь даже на “чёрном” рынке, книги какими-то неведомыми путями – и то оказывались прочитаны или по крайней мере становились известны нашему читателю. Как член Всесоюзного общества “Знание”, в течение по меньшей мере сорока лет выступавший с лекциями о литературе по всей стране, могу засвидетельствовать: так называемая “техническая” интеллигенция (в первую очередь инженеры) проявляла осведомленность в текущей литературе, которой мог позавидовать филолог, а под текущей литературой следует понимать поток книг художественных, биографических, исторических, философских, как отечественных, так и переводных. Ученые, представители точных наук, математики, физики, химики, биологи следили за ходом дискуссии по поводу подлинности “Слова о полку Игореве”, не говоря уже о спорах в связи с авторством “Тихого Дона” или обстоятельствами гибели Есенина и Маяковского.

Журнал “Новый мир”, когда в нем печатался “Доктор Живаго”, выходил ежемесячно в количестве миллиона ста пятидесяти тысяч экземпляров (сейчас этот тираж составляет чуть больше 7 тысяч), и каждый из подписчиков, с нетерпением ждавший романа Бориса Пастернака, уже не только читал, но и перечитал считавшиеся советской классикой произведения на ту же тему – судьба человека в революции: “Тихий Дон”, а также “Хождение по мукам”, “Жизнь Клима Самгина”, “Железный поток”, “Конармия”, “Чапаев”, “Как закалялась сталь”, “Шел солдат с фронта”, “Белеет парус одинокий”, “Школа”, наконец, “Белая гвардия” и “Россия, кровью умытая”.

“На читателя обрушился вал запретной литературы”, – отмечает и Дмитрий Быков, называя, в частности, тогда же опубликованный “Котлован” Андрея Платонова, а к этому следует прибавить произведения того же автора, скажем, “Сокровенный человек” и “Происхождение мастера”, уже известные советской аудитории, хотя, в свою очередь, с опозданием дошедшие до неё. Активный участник литературной жизни тех времен Наталья Иванова в своей хронике перечисляет произведения, “обрушившиеся” на читателей в том же восемьдесят восьмом году. Это, как выразался Толстой, разного достоинства произведения, некоторые из них, в отличие от “Доктора Живаго”, больше не обсуждаются, а быть может, и не читаются, но это в самом деле шквал, в котором мелькают и “Дети Арбата”, и “Хранитель древностей”. Всю эту литературу, до единого названия, прочел каждый из тех, кто получал номера “Нового мира” с романом Пастернака, причем номера журнала переходили из рук в руки, и кому не удалось подписаться на журнал, тот одалживал его у знакомых или же старался взять в библиотеке. Сын Бориса Пастернака, его необычайно основательный, надежный редактор, Е. Б. Пастернак, в предисловии к

<sup>2</sup> Чем дальше, тем яснее это становится для тех, кто пережил и помнит то время. См. характеристику 1980-х гг. в кн. Натальи Ивановой “Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век”. Санкт-Петербург, “Блиц”, 2003. С Натальей Ивановой мы являлись литературными противниками, так что моя апелляция к её мнению беспристрастна.

<sup>3</sup> В 1990 году я редактировал собрание сочинений Вальтера Скотта в качестве приложения к журналу “Огонек” – восемь томов, каждый тиражом один миллион семьсот тысяч экземпляров, и меня осаждали знакомые с просьбами помочь им получить подписку. Такое едва ли повторится.

первому советскому книжному изданию романа писал: “Сплошь и рядом видишь, как номера журнала читают в электричках, автобусах, стоя в очередях”<sup>4</sup>.

Кроме упомянутых мною беллетристических книг каждый подписчик “Нового мира” читал — и с увлечением читал! — мемуары, доступные ему пусть далеко не все и не полностью, в сравнении с тем, как они станут ему доступны впоследствии, но та же аудитория читала и “Окаянные дни” Бунина, и “Дни” Шульгина, не говоря уже об исследованиях историков. А советские историки к тому времени, очень часто под прикрытием традиционно-ортодоксальных названий, вроде “Краха буржуазной печати в канун Великой Октябрьской социалистической революции”, производили переоценку устоявшихся воззрений на этот самый, нам приевшийся, “крах”<sup>5</sup>.

Советские читатели, которые на исходе 1980-х годов взялись, наконец, за роман Пастернака, к тому времени уже прочитали не только все, что можно было прочитать из отечественной литературы о времени, о событиях, отразившихся в долгожданной книге. Те же читатели отличались начитанностью и в литературе зарубежной, зная по переводам все, что можно было прочесть на русском языке. Из иностранных современников Бориса Пастернака советские читатели “Доктора Живаго” знали Томаса Манна, Пруста, Джойса, Хемингуэя, Фолкнера, Камю, Сартра, не говоря уже об Анатоле Франсе, Генрихе Манне, Драйзере и Голсуорси, знали в объеме собраний сочинений или, по крайней мере, были знакомы с отдельными произведениями этих иностранных авторов. Те же читатели охотились за вдруг переизданной “Золотой ветвью” Фрезера и наконец-то изданным переводом романа Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”.

Начитанность нашей аудитории удивляла (приятно) иностранных, приезжавших к нам, авторов. Не приходилось слышать, чтобы кто-то из зарубежных визитеров жаловался на неподготовленность наших читателей. Поражались их подготовленности, чему я не раз был свидетелем. На встречах с нашими читателями Жоржи Амаду, Джон Апдайк, Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, Грэм Грин, Доррис Лессинг, Алан Маршалл, Артур Миллер, Ричард Олдингтон, Джон Бойнтон Пристли, Жан-Поль Сартр, Чарльз Сноу, Джон Стейнбек оказались особенно тронуты доскональным знанием их произведений. Забытый у себя на родине автор “Смерти героя” Ричард Олдингтон просил прекратить встречу в московской Библиотеке иностранной литературы, потому что, как им было сказано, иначе он, старик, тронутый до слёз, уже совсем расплачется, а своему младшему другу и литературному собрату, Лоуренсу Даррелу, Олдингтон в письме сообщил: “Они здесь принимают меня за писателя — не смеяся!”. Известный английский актер Пол Роджер, выступавший в Москве с шекспировским репертуаром, даже изобразил, как советская аудитория относится к искусству. “Наш зритель сидит в театре вот так”, — сказав это, Роджер откинулся в расслабленно-свободной позе. “А ваш — вот так”, — он подался вперед с выражением крайней сосредоточенности и полнейшего внимания. И вся эта аудитория, огромная и осведомленная, “вот так” отозвалась на роман Бориса Пастернака. Если её реакция и выглядит почему-либо странной, то можно ли читателей, хорошо знакомых с “Жизнью Климса Самгина” и “Белой гвардией”, с “Доктором Фаустусом” и трилогией Фолкнера о Сноупсах, одолевших даже “Шум и ярость”, считать плохо подготовленными к восприятию “Доктора Живаго”?

Дмитрий Быков не отрицает читательского энтузиазма тех времен, однако в этом энтузиазме он видит источник той самой реакции на роман, какую счёл “странной”. Активнейший читательский энтузиазм оказался, по его мнению, не туда или не на то направлен. “Главной сферой читательских интересов были дела относительно недавнего прошлого, — пишет он, — сенсационные разоблачения коррупции и репрессий, сталинских явных и андроповских тайных злодеяний”.

Разоблачения, касавшиеся сталинского времени, нашего времени, в пределах которого все мы, “отцы” и “дети”, сформировались, эти разоблачения естественно находились в центре внимания читателей восьмидесятых годов. Среди них было немало пострадавших и несчетное число родственников по-

<sup>4</sup> Цитируется по тексту предисловия, полностью воспроизведенному в интернете.

<sup>5</sup> На это еще в 60-х годах обратил мое внимание Вадим Кожин, с которым мы вместе работали в Институте мировой литературы.

страдавших от репрессий — все, для кого то время не было предметом академического интереса или праздного любопытства. В том времени, как эти читатели справедливо полагали, им следовало искать объяснений их собственной жизни и судьбы, если вспомнить ещё одно “запретное” произведение, дошедшее наконец до тех же читателей. Но ведь как только эти разоблачения были сделаны, они тут же показались недостаточными сами по себе — вне времени предшествующего, без корней. Сразу же последовали разоблачения предсталинского времени, ленинского и троцкистского, переоценке была подвергнута и революция (сколько в связи с этим говорили, например, о “немецких деньгах” или о масонах), а затем и предреволюционная пора, так называемое “позорное десятилетие”. Едва по цензурным условиям стало возможно, принялись настойчиво интересоваться всем — от поэтического Серебряного века до столыпинской реформы.

Имея в виду “странный” отклик на “Доктора Живаго”, Дмитрий Быков пишет: “Книга о русской революции оказалась невостребованной (как, впрочем, и лучшие сочинения Алданова, пришедшие к читателю в это же время: Пикюля он не заменил, а до Толстого не дотягивал)”.

Что ж, если Марк Алданов не вызвал особенного интереса, то Дмитрий Быков сам же указал на причину: принадлежащая Алданову революционная или, скорее, антиреволюционная трилогия (“Ключ”, “Бегство” и “Пещера”) не столь же удобочитаема, как повествования Валентина Пикюля, и не обладает художественной выразительностью “Войны и мира”. А в то время именно нахлынувшая на нас волна разоблачений вынесла на поверхность столько разноречивых фактов, что художественный синтез, подобный толстовской эпопее, представлялся единственно справедливым в оценке нашей истории двадцатого века. Тогда, начитавшись разоблачений “правых” и “левых”, обнаружив правду и ложь со всех сторон, и заговорили о том, что лишь новый Толстой смог бы передать характер нашей великой и страшной эпохи, и что нужен второй Шекспир, чтобы такую устрашающе-могущественную фигуру, как Сталин, подвергнуть поэтическому правосудию. Разоблачение различных сторон революционного процесса вызвало потребность в художественной, то есть полной, истине о революции.

“Ключевым словом”, как отмечает в своей хронике Наталья Иванова, именно в восемьдесят восьмом году стала “правда”. Речь зашла о правде уже не только как доподлинно установленном факте и наконец-то преданном гласности разоблачительном документе. Для того чтобы нам понять самих себя и куда ж нас гонит, сделался потребен посильный охват какого угодно общественного явления в целом, без односторонности разоблачительной или апологетической. Если бы такая книга о революции появилась, неужели она бы оказалась “убита” в каком угодно “контексте”, как выражается Дмитрий Быков относительно “странной” участи “Доктора Живаго” в руках советских читателей восьмидесятых годов?

Тем же “контекстом” ведь не была “убита”, скажем, “Семья” Нины Федоровой (А. Ф. Рязановской), которую как раз тогда мне наконец-то удалось опубликовать в “Роман-газете”. “Хорошая книга о русских за рубежом, написанная русским автором” — так ещё в 1969 году, в Канаде, этот роман был мне рекомендован А. А. Ливеном, бывшим владельцем дома в Москве на Страстном бульваре, где я родился и вырос. Прочитав “Семью”, я согласился с мнением рекомендателя, а в разговоре с самой Антониной Федоровной к характеристике “хорошей книги” добавил: “И хороший поступок”. В самом деле, идя против потока претенциозной и поверхностной, тенденциозной чепухи, так проникновенно, так умно, прекрасным, с легким иностранным акцентом, русским языком, сочувственно и не щадя их, с иронией и со слезами, художественно-объективно написать о зарубежных русских! В течение двадцати лет я безуспешно пытался “пробить” “Семью” у нас, но когда это удалось сделать, книга тут же нашла отклик, как находит всякое “живое описание”, если воспользоваться пушкинским определением выразительного слова. “Семья” не была убита перенасыщенным информацией контекстом, не потонула в потоке разоблачений, её не захлестнул шквал сенсационной литературы, хотя по своему обыкновению никаких усилий к организации успеха этого романа я не прилагал. Интерес к “Семье” возник и развивался стихийно, в печати появился всего один-единственный отзыв, правда, восторженный, с интонацией “Ну и ну, здорово!”, но что касается читательского успеха, то некий серьезный

читатель сообщил мне об особом признаке популярности книги Нины Федоровой — у него “Семью” украли. А “Роман-газета”, единственная редакция, уцелевшая после развала крупнейшего советского издательства, выпустила роман ещё раз, меня же они сделали членом своей редколлегии и до сих пор просят: “Вы бы нам порекомендовали еще одну “Семью”. Уж до чего довольны наши читатели!”. А этот роман — не секс, не детектив, это человеческое — живое! — слово о живых людях. Прямо и опосредованно есть там и Россия, и революция, и гражданская война, и эмиграция, и религия, и любовь, всё это — в лицах. И не требовалось кричать, что это “великий роман”. Как сказал мой экс-домовладелец, просто хорошая книга, которую, однажды прочитав, читатели не забывают и уже с ней не расстаются. Я постоянно ставил и, по возможности, ставлю своего рода социологический эксперимент: заходя в букинистические магазины, слежу за книгами, которые редактировал, комментировал и писал к ним предисловие. Из десятков названий даже De Profundis Оскара Уайльда (изданный в составе Библиотеки всемирной литературы) ставший у нас бестселлером за счет специфического читательского интереса) попадает — редко, но все же попадает. “Семья” — никогда. Украсить эту вышедшую тиражом в восемьсот тысяч книгу, как видно, могут, а расстаться с ней — ни за что. Один из сыновей Нины Федоровой, профессор Александр Рязановский, мне рассказывал, как он оказался в лифте вместе с Набоковым, и тот свысока, величественно, вымолвил: “Вы можете гордиться такой матерью”. Другой сын автора, профессор Николай Рязановский, снабдил меня материалами из семейного архива, из которых следует, что среди почитателей Нины Федоровой были и Сикорский, и Стравинский. И вот, без искусственно созданного разоблачительного ажиотажа, без какого-либо политического скандала в качестве рекламы, к этим разборчивым, сверхподготовленным читателям добровольно и охотно присоединились читатели как советские, так и постсоветские, присоединились и просят — “Ещё!”.

В требовании “подготовленности” я слышу критический диктат, агрессивный приказ быть заведомо благорасположенными к сочинению, которое необходимо — просто надо — считать замечательным, и всё тут: без разговоров, не морщиться, лопай что дают!

“К восемьдесят восьмому году от поколения, помнившего революцию, практически никого не осталось, — объясняет Быков отчужденность советской читательской аудитории от “Доктора Живаго”, — те, кому был адресован роман Пастернака, — больше не существовали. Старая интеллигенция, чьим манифестом и оправданием должна была стать книга, вымерли, новая интеллигенция выродилась”.

Выскажу свои соображения на тот же счет.

На исходе восьмидесятих годов в Советском Союзе всё ещё немало людей помнили революцию. В моей семье, например, к восемьдесят восьмому году таких оставалось двое, а в семье моей жены — один человек, итого трое в нашем тесном окружении, не считая дальних родственников, а также близких старших друзей. Подобные семьи не являлись редкостью, и каждая читала “Новый мир”. Многие советские люди, ни революции, ни гражданской войны не заставшие, тем не менее испытали на себе их непосредственные последствия, оказавшись в положении привилегированных или, напротив, обездоленных. Наконец, было множество людей, не связанных с революционными событиями, но проявлявших к ним живейший интерес, совершенно несправедливый. В конце восьмидесятих годов, по известному выражению Горбачева, “процесс пошел”, и советские люди в массе осознали, что это процесс, чреватый революционным переворотом. Тогда интерес к Февралю и Октябрю как историческому прецеденту, к началу начал, необычайно обострился, вот и взялись миллионы читателей перечитывать им уже известное и тем более читать все новое на тот же сюжет.

Был ли роман Пастернака адресован исключительно людям его поколения? Принадлежащая Е. Б. Пастернаку история создания романа содержится в комментариях к тому четвертому из одиннадцатитомного собрания сочинений его отца, и согласно этому надёжному источнику автор “Доктора Живаго” адресовался в первую очередь к самому себе, сводил счеты со своим прошлым. Во всю меру всех своих творческих сил поэт-романист старался выразить себя, воссоздать свой собственный опыт. И старая интеллигенция, которой этот опыт самовыражения был интересен в первую очередь, ещё не вся

ушла к моменту появления романа в Советском Союзе. Однако чем старше оказывались читатели “Доктора Живаго”, чем лучше помнили время, отразившееся в романе, тем их отклики становились “разнообразнее”. “Первые впечатления разнообразны и сбивчивы”, – в предисловии к отдельному изданию романа отмечал Е. Б. Пастернак. У читателей, которым “Доктор Живаго” был пристрастно-интересен, сохранились свои воспоминания, имелись свои мнения о событиях и духе их века.

Такое неединодушие, по нарастающей, наблюдалось в откликах на “Войну и мир” со стороны читателей, помнивших 1812 год, сказалось оно в откликах наших старших современников на “Дни Турбиных” и “Белую гвардию”, и то же самое на основе своего собственного гражданского и читательско-зрительского опыта можем мы сказать о произведениях, посвященных Отечественной войне, которую мы сами пережили. Скажем, в “Ивановом детстве” я узнаю характер памятного мне военного времени, а в кинофильме “Белорусский вокзал” – нет. Хотя житейского фона в этом фильме гораздо больше, чем в условно-символической картине Тарковского, “Белорусский вокзал” мне представляется по настроению совершенно недостойным, как не могу я сейчас даже слышать песен времен войны. “Темная ночь” в устах Бернеса или Утёсова – то была другая песня. В так называемом “новом”, пусть вполне профессиональном, исполнении это песни не о том, что было всеми нами некогда пережито.

Среди читателей “Доктора Живаго”, которые являлись современниками отразившихся в романе событий, несомненно, были такие, кто находил в романе себя и свой опыт, а были и такие, кто ничего подобного в том же романе не находил – это Борису Пастернаку пришлось услышать именно от друзей-сверстников, кому он в первую очередь стал читать свой роман.

“Те немногие, кому роман был действительно нужен, успели прочитать его в самиздате”, – говорит Дмитрий Быков. Но ведь именно у тех, кто имел возможность прочитать роман в ходившей по рукам машинописи или в зарубежных русских изданиях, “Доктор Живаго” вовсе не вызвал единодушного восхищения. Помню, в конце пятидесятых к моим родителям зашёл друживший с ними с давних пор и недавно вернувшийся из заключения Лев Копелев. Он только что прочитал роман, и на мой вопрос “Ну как?” вместо ожидаемого, само собой подразумеваемого, панегирика сказал с очевидной сдержанностью: “Хорошо о поэзии и природе”, и больше не произнес ни слова.

В комментарии к четвертому тому из собрания сочинений Пастернака, где помещен “Доктор Живаго”, указывается, что роман “осудили” такие близкие к автору читатели, как Анна Ахматова и Борис Ливанов. С Ахматовой я, к сожалению, знаком не был, хотя и жил в пяти минутах ходьбы от Ардовых, где она обычно, приезжая в Москву, останавливалась. Зато я вырос на глазах у Ливановых, у Бориса Николаевича и его жены Евгении Казимировны, вдохновительницы стихов Бориса Пастернака, их сын Василий – мой сверстник по возрасту, соученик по школе и ближайший друг. Несчетное число раз, проходя к ним, я слышал: “Только что у нас был Пастернак” или: “Ты сидишь на стуле, где сидел Борис Леонидович”. Слышал, конечно, восторженные отзывы о его стихах и самые стихи, в том числе из “Доктора Живаго”, их читал наизусть Васяка. И ни слова в том же доме близких друзей Пастернака я не услышал о “Докторе Живаго”. Я и не спрашивал, зная, что даже о врагах Ливановы не злословят, не высказываются отрицательно, и если не могут сказать “хорошо”, то, значит, не хотят сказать – “плохо”. Уже после кончины Бориса Ливанова, когда Евгения Казимировна предложила мне стать редактором сборника материалов о нем, она однажды вспомнила, как, прослушав отрывки из романа в чтении автора, она ему сказала: “Боря, ты не Толстой!”. Это означало – не романист. А я знал, до чего разборчиво в ливановском доме подходили к оценке особенностей всякого дарования. (Сам Борис Николаевич на мой вопрос, почему он не поставит “Бориса Годунова” и не сыграет главную роль, ответил: “Мешает Шалапин”.)

Что же касается интеллигенции, которую Дмитрий Быков назвал “новой” и счёл “выродившейся”, то о какой интеллигенции в данном случае идёт речь?

Если формировавшаяся при советской власти интеллигенция не была достаточно интеллигентной, не образованной энциклопедически, как в старое время полагалось, чтобы считаться интеллигентным, ведь то была не вина, а беда этих людей, их ли не держали и не пушали, не допускали до чтения мно-

жества книг? Друг моего отца, профессор-книговед, Н. М. Сикорский, назначенный директором Ленинской библиотеки, обнаружил (и сообщил об этом моему отцу), что по меньшей мере треть всего книжного фонда находится у нас “под гайкой”, в спецхране, недоступна большинству читателей. И то была не макулатура, то были книги из обязательного чтения для человека, считающегося интеллигентным. Но именно эта обделенная интеллигенция, которую Дмитрий Быков считает “выродившейся”, а Солженицын презрительно назвал “образованщиной”, и составляла наиболее активную часть советской читательской аудитории. Воля к чтению и знанию у этих людей, которые сознавали свою недостаточную интеллигентность, была неистовой.

Что же касается прекрасно начитанной, поистине новой интеллигенции из молодых, то она не выродилась, а успела за семьдесят четыре года советской власти только народиться. Эти люди выросли в советских семьях, занятых умственным трудом и живших духовными интересами уже по меньшей мере в третьем поколении, как Юрий Живаго или сам Борис Пастернак. Но если автор романа и его заглавный герой (плоть от плоти предреволюционной русской интеллигенции) духовно сформировались и, так сказать, “образовались” к исходу старого режима, то у нас такие люди появились перед концом режима, установленного некогда революцией.

Место интеллигенции, имея диплом о высшем образовании и часто не имея образования низшего, в Советском Союзе нередко занимали деды и отцы, ставшие интеллигентами по положению после и благодаря революции. Но внукам своим те же полуинтеллигентные и просто полуграмотные “предки” постарались дать образование наивысшее, и какова интеллигентность этих “потомков”, вооруженных знанием нескольких иностранных языков, сведениями по истории и философии (той, что моему поколению и знать не полагалось), можно судить по книгам, начавшим выходить из-под их пера и под их редакцией в первые же постсоветские годы. Сам редактор и комментатор все-таки с тридцатипятилетним стажем, читая их комментарии, я про себя твержу: “Ого-го!”. О том, как представители этого поколения думают о романе Пастернака, я прочел в книге, выпущенной “Новым литературным обозрением” в 1996 году. Вот что в той книге сказано: “Некоторые из новейших русских критиков возводят мнение о “Докторе Живаго” как о “неудаче” автора в догму, в факт, не требующий доказательств”<sup>6</sup>.

Наконец, Дмитрий Быков считает, что “христианский пафос его (романа “Доктор Живаго”. — Д. У.) оказалась большинству читателей совершенно чужд — в этом смысле советская пропаганда преуспела больше, чем в прочих направлениях”.

Так ли? Антирелигиозная пропаганда у нас оказалась до того “успешной”, что в последние годы советской власти и тем более сразу после её падения в России начался религиозный ренессанс. Как раз в конце восьмидесятых годов с одним зарубежным знакомым на пару мы заглянули в стоящую рядом с моим замоскворецким домом старинную церковь Ивана Воина и не поверили своим глазам: храм был полон полуодетыми людьми, в основном женщинами, молодыми, во всяком случае, совсем не пожилыми. Что это? Кто такие? Что творится? Какое-то сектантское радение вместо церковной службы! А то были истовые по убеждению христиане, однако некрещеные, они желали, пусть с запозданием, надеть крест и готовились быть окропленными из купели. Среди тех же взыскующих Града Божьего находились, несомненно, и читатели журнала “Новый мир”.

Если все же согласиться с мнением Дмитрия Быкова, что наши читатели оказались не подготовлены к восприятию “Доктора Живаго”, то каких же читателей он считает подготовленными? “Даже за границей, — отвечает на это Дмитрий Быков, — в 1956 году у книги была более благодарная аудитория”.

Биограф Пастернака не уточняет, какую он имеет в виду зарубежную аудиторию русского романа, который в то время, в пятьдесят шестом году, ни по-русски ещё не был издан, ни переведен на иностранные языки. Кроме того, неясно, почему премированный биограф называет год пятьдесят шестой — до появления романа за рубежом. Широкая зарубежная известность “Доктора Живаго” началась с присуждением Борису Пастернаку Нобелевской премии в 1958 году и, в особенности, с выходом на экран в 1965 году сделанного по

<sup>6</sup> И. П. Смирнов. Роман тайн “Доктор Живаго”. Москва, НЛО, 1996, стр. 7.

роману фильма. Но, отбросив детали, в каком отношении откликнувшаяся на роман и фильм зарубежная аудитория была благодарной? Можно ли зарубежную аудиторию, с энтузиазмом откликнувшуюся на роман Пастернака, считать лучше подготовленной к восприятию “Доктора Живаго”? Кто составлял эту аудиторию?

В своем большинстве то была публика, как в Америке нередко говорится, понятия не имевшая не только о русской литературе, но о России и русской революции. Многие из них прочли роман после того, как посмотрели фильм. Для абсолютного большинства зарубежных читателей “Доктора Живаго” роман Пастернака явился открытием России, первой книгой о стране, написанной гражданином этой страны, той самой, с которой велась холодная война. Кто за рубежом читал в переводе “Доктора Живаго”, тот, как правило, не читал не только “Хождения по мукам” или “Тихого Дона”, но не читал ни “Войны и мира”, ни “Анны Карениной”, ни “Братьев Карамазовых”. Для этих, вне сомнения благодарных, читателей то был первый прочитанный “руссан”, по определению еще девятнадцатого века, когда так называемые *русские* (подобно *немцам* или *французам*) вошли в читательский оборот за рубежом. В глазах неначитанных в русской литературе иностранных читателей роман Бориса Пастернака представлял за всю русскую литературу, и всё, чем наша литературная традиция сказывается в романе Пастернака, нашло у них живой отклик.

Были за рубежом и читатели подготовленные, прекрасно подготовленные, профессионалы, литературоведы и критики, в первую очередь слависты и русисты, советологи, достаточно многочисленные, составившие в годы холодной войны, как мы знаем, своего рода идеологическую армию. Для них роман был обязательным объектом внимания, “пристального чтения”. Это были специалисты, вовлеченные в так называемую “критическую промышленность”, которая перерабатывала литературу как “сырье”. В дело шло все, лишь бы материал поддавался интерпретации и мог служить поводом для различных, подчас изощренных и весьма замысловатых истолкований. Это проделывалось со всей литературой, и “Доктор Живаго”, не составляя исключения, тут же пошел в “производство”, был поставлен на поток: один за другим стали появляться “критические” разборы романа. “Критические” – в кавычках, в оценочном смысле критическими эти опусы не являлись, это было аналитическое вычитывание из романа, а подчас многоумное “вчитывание” в роман всевозможной символики.

И наконец, в числе зарубежных читателей была эмиграция, послереволюционная, немногочисленная, лишенная того влияния, что выпало на долю так называемой “третьей” волны. “В конце 50-х покупателей русских книг (за рубежом. – Д. У.) было мало, это был демографический и культурный провал в эмиграции”, – говорит исследователь, специально занимавшийся этой темой<sup>7</sup>. Оказавшись в конце 60-х годов в США, я провёл полдня в старейшем русском книжном магазине Н. Н. Мартыянова, на 55-й улице в Нью-Йорке, и, в течение нескольких часов шаря по полкам, оставался там единственным посетителем. Так что могу подтвердить заключение ученого.

Изгнанная из своей страны (в отличие от “третьей” волны эмиграции, которая будет приглашена в другую страну), страдающая тоской по родине, эта доживающая свой век “первая” эмиграция принялась читать “Доктора Живаго” со вполне понятной готовностью и читала, “словно жизнь свою”. Однако наверняка знает Дмитрий Быков, что многие из этих сравнительно немногочисленных читателей оказались, подобно мне, разочарованы. Был и восторг, были слезы умиления, но в той же более чем подготовленной читательской среде, как и среди живших в СССР близких друзей Пастернака, раздался по адресу романа (как романа) голоса критические<sup>8</sup>. В печати подобные голоса прозвучали, насколько удалось мне проследить, уже позднее, например, со страниц альманаха “Минувшее” и “Нового журнала”, в составе материалов архивных. Говорили эти голоса не только о недостатках романа, говорили они и о том, что, если роман превозносится как литературный шедевр, то на самом деле это делается по причинам политическим.

<sup>7</sup> Интервью Ивана Толстого в российской прессе, цитируется по тексту в интернете.

<sup>8</sup> Такой голос принадлежал, например, представителю послереволюционной волны, известному литератору Георгию Адамовичу, его критический отзыв о “Живаго” был на конференции упомянут в сообщении Лазаря Флейшмана.

“Роман Пастернака, взорвавший мировую литературную ситуацию именно на фоне каменного молчания советской литературы о самом главном, ... попал в контекст, способный убить и более эффективное сочинение”, – так считает Дмитрий Быков, опять-таки не раскрывая, в чем же заключалось “главное”. Но что бы ни было главным на взгляд Дмитрия Быкова, вот что, мне кажется, важно.

По сравнению с текстом, действительно обладавшим взрывной силой и появившимся в 1956 году, то есть антисталинским докладом Хрущева на XX съезде КПСС, роман Пастернака не содержал каких-либо ошеломляющих разоблачений. И не были описанные в романе события у нас окружены молчанием, роман давал другую оценку тем же событиям, причем не столь уж радикально отличную от принятой в Советском Союзе официальной точки зрения, о чем, собственно, говорил и сам Пастернак. Автору “Доктора Живаго” инкриминировалось “искажение” уже известного – не разглашение чего-то, чего не следовало и разглашать<sup>9</sup>.

Уж почему у нашего руководства не хватило ума с незначительным отклонением от квазимундистического канона примириться и, в своих же интересах, опубликовать роман своевременно, того постичь мы пока не можем. Как признал Шолохов, сдали нервы. Отчего? Тут требуется знание политической подоплеки, которая до сих пор ещё не выявлена. Что творилось в коридорах советской власти, когда там обсуждали вопрос о романе, мы до конца не знаем и, возможно, никогда так и не узнаем за отсутствием документации. Опубликованные, хотя бы и “совершенно секретные”, документы недостаточны. Там велись разговоры, там раздавались телефонные звонки, многое из этого не отразилось в документах, а ведь, быть может, неофициальные разговоры и доверительные звонки сыграли в судьбе романа роль более значительную, чем все то, что попало в самые секретные бумаги. Стало известно лишь, что принявший решение о запрете “Доктора Живаго” Хрущев, по его собственному признанию, романа не читал (как не читал и Альбер Камю, выдвинувший Пастернака на Нобелевскую премию, едва только о романе стало известно и попал он за рубеж, однако еще не был переведен).

Во всяком случае, сказать, будто роман Пастернака взорвал ситуацию именно “литературную”, как это сделали некогда старшие модернисты или у нас на глазах представители так называемого “магического реализма”, просто-напросто нельзя. В своё время что угодно говорилось о “Докторе Живаго”, кроме того, что это взрыв литературный. Взрыв был прежде всего и преимущественно политическим.

Как готовился и производился этот взрыв, о том уже существует целая литература, в частности, принадлежащая Франсез Стонор Сондерс книга, название которой сходно с названием данной конференции – “Холодная война на культурном фронте”<sup>10</sup>. Политический климат сильно сказался на судьбе и оценке романа, с этим уже давно никто не спорит, в особенности с тех пор, как стало известно, что и на Нобелевскую премию автор романа выдвинут был читателем, не читавшим романа, стало быть выдвинут из каких-то общих, не исключительно литературных соображений. Это понимали и признавали, пусть лишь частным порядком, вовлеченные в ту же кампанию крупные зарубежные литературные и культурные деятели, историки и философы, писатели и журналисты, негласно выступавшие тогда в качестве консультантов или, как их теперь называют, “политических стратегов”. В ныне опубликованных материалах, воспоминаниях и переписке (скажем, московского корреспондента “Нью-Йорк таймс” Макса Френкеля с главным редактором газеты Гаррисоном Солсбери) мы становимся посвящены в их доверительный обмен мнениями о том, что, не будь скандала, не было бы и Нобелевской премии<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Об этом можно судить и по рассекреченным материалам ЦК КПСС и КГБ. См. “А за мною шум погони”. Борис Пастернак и власть. Документы, 1956–1972 // Ред. В. Ю. Афиани и Н. Томилина. Москва, РОССПЭН, 2001.

<sup>10</sup> Frances Stonor Saunders. The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and Letters. New York, The New Press, 1999. Pp. 245–246.

<sup>11</sup> Бориса Пастернака и до публикации романа выдвигали на ту же премию. Выдвигать – выдвигали, а дали бы без романа, вернее, без организованного вокруг него ажиотажа? “Вы не представляете себе, какая здесь идет борьба”, – услышал я от секретаря Нобелевского комитета уже после того, как премия была дана не только Пастернаку и Солженицыну, но и – Шолохову (в последнем случае, по заданию дирекции ИМЛИ, я готовил нужные для подачи на премию бумаги).

В подобных публикациях я нахожу подтверждение моего собственного опыта как участника холодной войны. Вот что в 1963 году услышал я от авторитетного американского русиста и советолога, основателя Русского института при Колумбийском университете, Эрнеста Дж. Симмонса, принявшего участие в подготовке все того же “взрыва”. О Борисе Пастернаке он мне сказал: “Но вы же сами делаете из него мученика”. Иначе говоря, запретом на роман мы не оставили нашим противникам другого выхода, как превознести роман, что бы они об этом романе ни думали. Тот же Симмонс как раз был не склонен преувеличивать достоинств “Доктора Живаго” и разошёлся во мнении с еще одним влиятельным консультантом-стратегом, своим давним другом Исайей Берлиным.

Производство же “мучеников” приобрело у нас масштабы тоже своеобразной промышленности, которую, однажды запустив, мы уже не могли, как всякий промышленный комплекс, остановить. А занесение в политические святцы на правах “мучеников” стало почти безотказно действующим средством достижения международного успеха. Речь, разумеется, не о подлинных подвижниках. Сколько было примазавшихся! До тех пор пока запрещали, политический запрет надежно защищал от настоящей литературной критики, и бесталанность этим успешно пользовалась, пользовались и все те, кто ради собственной выгоды занимался организацией успеха этой бесталанности. Об этом, надо думать, ещё напишут столь же документально и фронтально, как уже создали в США труды о канонизации таких писателей, как Хемингуэй, Фолкнер и Фитцджералд. Но если в тех трудах речь идёт о раздувании – в целях коммерческой рекламы – репутаций всё же заслуженных, то изучение литературных кампаний, предпринятых в ходе холодной войны, даст материал и по истории создания совершенно дутых величин во имя политических целей.

Главное же заключается в следующем: для зарубежной аудитории, взятой в целом, “Доктор Живаго” стал сенсацией. Спустя тридцать лет на родине создателя романа сенсации не состоялось. Это ли не странно? Не отозвался ли на долгожданный роман наш массовый читатель точно так же, как некогда отозвались некоторые избранные, близкие и благорасположенные к автору читатели? У искусственных все-таки в чтении своей литературы соотечественников возникла та самая реакция, которую биограф Пастернака назвал “странной”, а сын и редактор писателя дал ей название “сбивчивой”.

Влиятельный покровитель романа, академик Д. С. Лихачев, в ту пору признался, что “не перестает удивляться”, читая и перечитывая роман, и в итоге он для себя открыл: “А между тем “Доктор Живаго” даже не роман”<sup>12</sup>. Андрей Вознесенский, защищая “Доктора Живаго” (от меня), назвал его романом “особого типа” – “романом поэтическим”, тем самым как бы отметая какие бы то ни было упреки роману, написанному все-таки прозой. На страницах “Правды”, ведя свою защиту романа, он писал: “Огромное тело прозы, как разросшийся сиреневый куст, несет на себе махровые гроздьи стихотворений, венчающих его. И как целью куста являются кисти, а смыслом яблоки – яблоки, так целью романа являются стихи, которые из него в финале произрастают”<sup>13</sup>. Но ведь если целью являлись стихи, то почему бы автору тогда, как Кольриджу, не притвориться уснувшим и забывшим про роман или потерявшим его, и опубликовать вроде бы предназначенный для включения в роман “случайно сохранившийся” стихотворный цикл?

Если же цель не в том, чтобы от корки до корки, не помня себя от увлечения, прочесть роман, а в том, чтобы добраться до того, что к роману “привешено”, по ходу неувлекательного чтения удивляясь, что же это за роман не роман, то, выходит, Борис Пастернак годами с превеликим тщанием трудился над прозаическим повествованием объемом в тридцать авторских листов для того, чтобы припечатать к нему ещё на пол-листа небольшой цикл стихов.

Уклончиво-иносказательная, хотя по тону и достаточно агрессивная, апология – “и не роман”, “цель романа – стихи” – не могла не показаться в своем роде сбивчивой. Тем самым авторитетные литературные судьи дали сравнительно легкий повод для нападок, какие и последовали тогда со стороны

<sup>12</sup> Лихачев Д. С. Размышления над романом Б. Л. Пастернака “Доктор Живаго” (“Новый мир”, 1988), цит. по сб.: Взгляд. Москва, “Советский писатель”, 1988, с. 363.

<sup>13</sup> Вознесенский А. Свеча и метель (“Правда”, 6 июня, 1988), цит. по сб.: Неоконченные споры. Литературная полемика. Москва, Молодая гвардия, 1990, с. 97.

молодого критика Павла Горелова. Его статью как голос “против”, наряду с голосом “за” бывалого критика Вячеслава Воздвиженского, мы поместили в журнале “Вопросы литературы”<sup>14</sup>. В том же номере была опубликована статья ещё одного авторитетного американского русиста Джорджа Гибиана “Леонид Пастернак и Борис Пастернак. Poleмика отца и сына”. Не вдаваясь в оценку романа, автор статьи рассматривал роман историко-биографически как спор принявшего христианство сына-еврея со своим отцом-сионистом. Этот никем прежде не отмеченный аспект романа вызвал особый интерес у наших читателей и сразу же поднял подписку на журнал.

А вот как очертил ситуацию Владимир Гусев, критик, чью рецензию Дмитрий Быков отнес ко всего лишь “нескольким дельным отзывам”:

“Как и многие произведения, опубликованные у нас ныне, роман Бориса Пастернака “Доктор Живаго” прочитан давно... Достоинства и недостатки этого произведения и иных произведений столь же давно проанализированы серьезными и достаточно объективными критиками, хотя влияние конъюнктуры и там действительно имело место. ... Должны ли мы сначала кричать “ура”, а потом уж разбираться, как советуют наши “прогрессивные” критики? Должны ли мы тотчас же холодно “разбираться”, что и психологически трудно после стольких лет молчания или простой клеветы в адрес этих произведений? Должны ли мы в случае сомнения просто молчать? Кажется, “серьезные люди” в основном выбрали именно последнюю позицию. Почему так? Обвинить их трудно. Они не только заведомо решили молчать, они ещё видят примеры тех, что “высунулся”. Им (“высунувшимся”. — Д. У.) тут же “досталось” с трех-четырёх сторон”<sup>15</sup>.

Среди промолчавших оказались такие известные критики, как Лев Аннинский, Игорь Золотусский и Владимир Лакшин. К их мнению с особым вниманием и доверием прислушивалась наша читательская аудитория тех времен, но именно эти критики ни тогда, ни впоследствии, насколько я смог установить, не высказались о романе Пастернака сколько-нибудь заметно. Если же взглянуть на оглавления в итоговых сборниках их статей, куда оказались включены материалы о важнейших литературных явлениях 1950–90-х годов, отсутствие там “Доктора Живаго” выглядит как очевидный, бросающийся в глаза пробел, ведь в тех же сборниках помещены статьи, опубликованные авторитетными для нашей публики критиками и до, и после появления романа Пастернака.

Преимущественно интерпретационным был разговор за “круглым столом”, собравшимся в “Литературной газете”, там высказались Георгий Гачев, Андрей Гулыга, Руслан Киреев, Екатерина Старикова и Андрей Турков. Собственно, это была единственная или, во всяком случае, единственно заметная газетная дискуссия о романе, и если подобное обсуждение Дмитрий Быков назвал “ритуальным”, то, возможно, потому, что там не разгорелась критическая схватка. Участники “круглого стола”, фигуры, в свою очередь, хорошо известные, между собой соревновались в понимании и толковании значения “Доктора Живаго”, но само значение сомнению не подвергалось<sup>16</sup>.

А среди тех, кто “высунулся” и кому “досталось”, оказался ваш покорный слуга. Председатель Международного научного совета при Центре стратегических и международных исследований Уолтер Лакер так и написал, что за статью “Безумное превышение своих сил”, появившуюся в “Правде” (27 апреля, 1988), мне “попало”, причем будто бы за то, что я осудил роман по политическим причинам<sup>17</sup>. Как политический выпад представил статью и профессор кафедры социологии Мичиганского университета Владимир Шлапентох<sup>18</sup>. Читал ли он мою статью, не знаю, но когда мы встретились с Уолтером Лакером, то оказалось, что самой статьи он не читал, судил по откликам, а в от-

<sup>14</sup> Горелов П. Размышления над романом, Воздвиженский В. Проза духовного опыта — “Вопросы литературы”, 1988, № 9, с. 42–81, 82–103.

<sup>15</sup> Гусев В. Дума об идеале (“Правда”, 6 июня, 1988), цит. по сб. Неоконченные споры. Литературная полемика. Москва, Молодая гвардия, 1990, с. 102.

<sup>16</sup> “Доктор Живаго” вчера и сегодня — “Литературная газета”. 1988, № 24, 15 июня, с. 3.

<sup>17</sup> Walter Laqueur. The Long Road to Freedom. Russia and Glasnost. New York, 1989. P. 825.

<sup>18</sup> Vladimir Shlapentokh. Soviet Intellectuals and Political Power. The Post-Stalin Era. Princeton, UP, 1990. P. 264.

клика статья подчас выглядела как политический поклёп, а я как доносчик и клеветник. Но вот Дмитрий Быков, хотя и называет меня “англистом и переводчиком” (то есть, надо понимать, не за своё дело взявшимся), подходит все-таки с литературной стороны и говорит, что моя статья “третировала роман с позиций традиционного реализма”. Как же еще иначе трактовать роман, который в традициях реализма, без значительных отклонений, написан?

На этой конференции мы слышали, что “Доктор Живаго” – роман модернистский, но, мне кажется, не роман, а подход к нему был модернистским, глазами же истолкователя-модерниста прочесть можно какой угодно текст, начиная со времен вавилонских. Сам же по себе “Доктор Живаго” вполне традиционен, а что в нем принимается за модернизм, то, я думаю, просто недоработки в русле реализма, как иные из художников вдарялись в авангардизм, не владея академическим рисунком. Там, где в романе Пастернака обнаруживают черты модернизма, наблюдается всего лишь невыполнение обычных повествовательных условий, самим автором перед собой поставленных.

Мера и границы дарования – того, по Писанию, не преjdeши. Здесь я упоминаю об этом ради того, чтобы подчеркнуть принцип, усвоенный мной с детства от родителей<sup>19</sup>, от Ливановых и Алексеевых, семьи, породившей Станиславского. Близкие родственники великого театрального реформатора рассказывали, как он, с невероятной требовательностью и даже жестокостью, в первую очередь по отношению к самому себе, следовал этому принципу. Как актер, изумительный актер, Станиславский задушил себя, сойдя со сцены преждевременно, – так считали Ливановы. Вероятно, уже не чувствовал себя тем актёром, каким хотел быть. “Оттого я присмирел, что я слышу топот дальний...” Гений и тот не способен преодолеть пределов ему отпущенного. Толстой как учитель жизни и философ, по словам посетившего его молодого литератора, оставлял впечатление, будто “среднего ума толстовец”. А Пастернак, как сказала ему женщина, мнением который он дорожил, “не Толстой” – не романист.

В названии нашей конференции стоит слово “жизнь”. Будет ли и как долго “Доктор Живаго” жить, то есть существовать в руках читателей без понуканий со стороны критики, это, как в судьбе всякого произведения, станет ясно, когда подпорки, до поры поддерживающие его популярность, отживут своё и упадут. Впечатление, произведенное “Доктором Живаго”, действительно оказалось не таким, какое хотели бы от него получить долго ждавшие роман наши читатели. Вместе со всей литературно-общественной коллизией вокруг романа, разыгравшейся на мировой арене, “Доктор Живаго” стал частью истории литературы, а приговор ему окончательный вынесет время. Роман Бориса Пастернака, возможно, устоит сам по себе – в каком ряду, уже не нам решать, тогда наши пристрастия, наверное, канут в прошлое.

**От редакции:** учитывая одну из ссылок Дмитрия Урнова на интервью Ивана Толстого, публиковавшееся в “Московских новостях” и “Еврейской газете”, мы дополняем общую картину истории публикации “Доктора Живаго” на Западе цитатами из этого интервью.

– До сих пор история издания “Доктора Живаго” рассказывалась со стороны самого Бориса Леонидовича, после его кончины друзьями и благожелателями, а в новые времена старшим сыном поэта, Евгением Борисовичем, и теми, кто исследовал взаимоотношения Пастернака и советской власти. И единственное, что никогда не обсуждалось, это самая деятельная часть истории: кто финансировал издание романа по-русски. Ведь Нобелевская премия присуждена за издание на родном языке романа, как и должно быть по

<sup>19</sup> Это мой отец, Михаил Урнов, был переводчиком, сделанные им еще в 1930-х годах переводы, прежде всего – О’Генри, безо всякой инициативы с его стороны неоднократно переиздавались и, выдержав проверку временем, продолжают переиздаваться до сих пор без малейшей нашей с братом инициативы. Отец, однако, проповедовал писать прозу и пьесы – нет, не получалось, и он за это уже не брался. Мать Ирина Воробьева, художница, делала карандашные рисунки и писала акварели, которые одобряли старшие мастера – Вильямс, Курилко, Федоровский, Шестаков, но работа маслом оказалась ей не свойственна, и она, ради заработка, красила декорации в Большом, расписывала пилоны на ВДНХ, а также вела рисование в цирковом училище.

ее уставу. Первый издатель, итальянец Фельтринелли, утверждал, что в отсутствие издания на языке оригинала тот язык, на котором произведение напечатано в первый раз, становится оригинальным языком издания. И юристы по авторскому праву с этим согласны. Однако для Нобелевского комитета эта логика не работает. И в 1958-м, когда роман был выдвинут на премию, один из “выдвигателей”, Альбер Камю (лауреат 1957 года), получил следующий ответ: комитет хочет присудить премию, но нет русского издания.

– В конце 50-х покупателей русских книг было мало, это был демографический и культурный провал в эмиграции. Никто из издателей не хотел рисковать. В частности, и сам Фельтринелли, обладавший оригиналом, правда непрямым, только для перевода, где нюансы не так важны. Кроме того, он понимал, что издание книги на русском языке на Западе – это политический жест, очень неприятный для Москвы. Не надо забывать, что Фельтринелли был коммунистом. Он порвал с итальянской компартией, которую в течение ряда лет финансировал, но остался верен идее коммунизма и не хотел быть ее подрывником.

Патовая ситуация, когда комитет согласен, друзья очень хотят, но нет денег. Оказалось, что требуется бог из машины, черт из коробочки – кто угодно; некая сила, которая бы это издала. Потому что сгущение туч вокруг Пастернака достигло такой степени плотности, что без Нобелевской премии поэту грозила публичная казнь.

И здесь на сцене появляются американцы. Шла холодная война, и американцам было важно показать – особенно в Европе, где коммунистические настроения были крайне сильны, что XX съезд партии остался голословным, что Сталин разоблачен только на бумаге. В действительности же цензура лютеет, свободы нет, и творческий человек при коммунистическом режиме не может сказать того, что думает. И за эту историю взялось ЦРУ, решившее оплатить издание романа по-русски. ЦРУ решило подготовить книгу параллельно по двум линиям. Одна – американская, другая – европейская. На каждой из них ЦРУ расставляло капканы и волчьи ямы, так что люди, выполнявшие задание по выпуску романа, не знали не только, что делает их партнер по другой линии, но и того, что делает следующие звено или делало предыдущее. Так они “отмывали” эту рукопись. Вульгарное, но точное отражение процесса. Ценой была Нобелевская премия. Ценой была победа в “холодной войне”. Книга легла на стол перед шестью членами Нобелевского комитета в срок, в августе 1958 года. Она вышла совершенно неожиданно для всех участников процесса и друзей Пастернака.

– Книгу нужно было легитимизировать, потому что ЦРУ подготовило книгу без названия типографии и имени издателя. Для Нобелевского комитета такая книга становилась “пиратской”. Политбюро, несомненно, посоветовало бы Пастернаку опротестовать ее по этой линии. В результате на книге появилось имя Фельтринелли. Однако имя издателя есть, но нет одной маленькой буковки, которая решает все: значка копирайта.

– Без ЦРУ после войны в русской эмиграции ни одна книга не издавалась. Конечно, были ведомственные издания, книги, издаваемые богачами на свои деньги, церковные издания. Но я говорю о мейнстриме – о романах, мемуарах, собраниях сочинений, документальных книгах, обо всем том, что определяло общественный литературный фон. Иногда это было прямое финансирование, но чаще всего применялся другой метод – издатель на свой страх и риск издавал книгу под некоторое общественное обещание. Это обещание можно сформулировать так: издай книгу – а мы у тебя закупим треть тиража. Треть тиража оправдывала затраты, но не давала доходов. Эта треть поступала в распространители эмигрантской книги, которые многие застали, поехав на Запад в раннюю перестройку. Квартиры без всяких вывесок в Риме, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, куда вас приводили знакомые эмигранты и где бесплатно раздавались книги. Это и были те самые конторы ЦРУ для не прямой, полуприкрытой оплаты этих тиражей.